



С. Г. БОЧАРОВ

**СЮЖЕТЫ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ

**СЛОВО ТЕОРИИ
И СЛОВО ПОЭЗИИ**

**ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
КАК ЛИТЕРАТУРА**

С. Г. БОЧАРОВ

СЮЖЕТЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва 1999

А
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Б 72

Бочаров С. Г.

Б 72

Сюжеты русской литературы. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 632 с.

ISBN 5-88766-037-6

Книга сложилась из работ, написанных за последние 10 лет (все написано после выхода последней книги автора «О художественных мирах», 1985). Сквозная тема книги сформулирована ее заглавием. «Сюжеты русской литературы» – это действия и события, совершавшиеся в пространстве русской литературы главным образом XIX века, но и нашего столетия тоже; магистральные сверхсюжеты, смысловые линии, пересекающие это пространство. «Пушкин – Гоголь – Достоевский» – тема-название первой части книги – главный сюжет столетия на верхнем уровне связи и смены ее центральных имен. Контакты и отношения между такими произведениями, как «Евгений Онегин», «Повести Белкина», «Нос», «Шинель», «Бедные люди», «Бесы», «Братья Карамазовы», и образуют сюжеты, развивающиеся в поле целой литературы. В статьях, образующих эту первую и главную часть книги, ставятся такие общие темы, как «История литературы *sub specie* Священной истории» (статья «Холод, стыд и свобода»), понимание Пушкина русской мыслью от Гоголя и Достоевского до Андрея Синявского и Андрея Битова («Из истории понимания Пушкина»). Трех главным именам в этой части аккомпанируют присутствующие также в ее статьях Баратынский, Языков, Аполлон Григорьев, Константин Леонтьев.

Последнему имени посвящена персональная вторая часть книги – леонтьевская: «Леонтьев – Толстой – Достоевский». Ее основная тема – замечательная литературная теория Леонтьева, содержавшая пророческие для будущей теории литературы и поэтики зерна. Большая статья – «Леонтьев и Достоевский».

Третья часть – «Двадцатый век». В центре этой части – несколько материалов полумемуарно-полутеоретического характера о жизненной и научной судьбе и филологически-философском учении М. М. Бахтина. Другие герои этой части – Владислав Ходасевич, Марсель Пруст (единственный выход за тему «сюжетов русской литературы», впрочем, Пруст имеет также к ним отношение), А. Д. Синявский, Андрей Битов, Людмила Петрушевская, Александр Михайлов.

ББК 83.3(2Рос=Рус)

Except the Publishing House (fax: 095 246-20-20, E-mail: lrc@koshelev.msk.su), only the Danish bookseller firm G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: alavic@gad.dk) has an exclusive right on selling this book outside Russia.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

© С. Г. Бочаров, 1999

© А. Д. Кошелев. Серия «Язык. Семиотика. Культура», 1995

© В. П. Коршунов. Оформление серии, 1995

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

Оглавление

Сюжеты русской литературы. <i>Вступительные слова</i>	7
---	---

ПУШКИН—ГОГОЛЬ—ДОСТОЕВСКИЙ

О возможном сюжете: «Евгений Онегин»	17
P.S. Возможные сюжеты Пушкина	46
Бездна пространства	78
Вокруг «Носа»	98
Холод, стыд и свобода.	
История литературы sub specie Священной истории	121
Французский эпиграф к «Евгению Онегину». Онегин и Ставрогин	152
P.S. Примечания к теме об Онегине и Ставрогине	168
Праздник жизни и путь жизни. Сотый май и тридцать лет.	
Кубок жизни и клейкие листочки.	192
Из истории понимания Пушкина	227

ЛЕОНТЬЕВ—ТОЛСТОЙ—ДОСТОЕВСКИЙ

«Ум мой упростить я не могу».	
К столетию смерти Константина Леонтьева.	263
Литературная теория Константина Леонтьева.	276
P.S. Заметки к теме «Леонтьев и Фет»	322
Леонтьев и Достоевский.	341

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

О «конструкции» книги Пруста.	401
«Памятник» Ходасевича	415
Об одном разговоре и вокруг него	472

Событие бытия. М. М. Бахтин и мы в дни его столетия	503
«Неискупленный герой Достоевского»	521
На Аптекарский остров...	
По поводу «Первой книги автора» Андрея Битова.	535
Чистое искусство и советская история:	
В память Андрея Донатовича Синявского	551
«Карамзин» Петрушевской	557
От имени Достоевского	574
P.S. О религиозной филологии	585
Огненный меч на границах культур. Идея обратного перевода	601
<i>Указатель имен.</i>	613
<i>Первые публикации.</i>	625

СЮЖЕТЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вступительные слова

Понятно (более или менее), что такое сюжет литературного произведения, но что такое сюжеты русской литературы? В большей части статей, составляющих эту книгу, обсуждаются литературные эпизоды из русского XIX века. В литературе этого века, русской как и европейской, изменяется статус отдельного произведения: произведение становится «миром», столь же единственным и уникальным (внутри себя не предполагающим существования вне себя других произведений-«миров»), как и сам послуживший ему источником, моделью и материалом внелитературный, «объективный» мир. В одно и то же время литература и сближается со своей современностью и с «самою реальностью», как никогда в предыдущие времена, но и поэтому именно, пересоздавая ее материал, обособляется от нее в самостоятельную реальность тоже как никогда. В самой же литературе обособляется *произведение*, что проявляется в непереступаемости его границ для его персонажей. Нет прямого перехода из жизни в произведение и обратно (отчего присутствие исторического лица среди литературных героев всегда ощущается как парадоксальный литературный прием: «К ней как-то Вяземский подсел»), но также из произведения в произведение; даже в творчестве одного писателя (его «мире») примеры героев Бальзака или Нехлюдова у Толстого достаточно исключительны. «Анна Каренина» и «Подросток» одновременно написаны и имеют за собой единую действительность, но миры того и другого романа исключают друг друга. Произведение «одинокое», как абсолютная личность,—так уже в начале нового века (1913) радикально и не без некоторой романтической экзальтации формулировал это Федор Степун: «Каждое же художественное произведение представляет собою всеисчерпывающий эстетический космос. Это значит, что каждое произведение искусства живет в атмосфере полного одиночества. Каждое абсолютно трансцен-

дентно всем другим, и все другие абсолютно трансцендентны каждому¹. Начало и конец произведения, его границы как «мира» абсолютны в том смысле, что нельзя представить себе другого произведения (даже в творчестве, «мире» того же писателя) непосредственно за его границей на той же общей для них территории.

Но существует общее пространство литературных произведений, и оно называется — литература, ближайшим образом литература национальная, и в этом общем пространстве произведения-монады оказываются не без окон и дверей. Говоря о сюжетах русской литературы, мы говорим о действиях и событиях, происходящих в этом общем пространстве, представляемом как метапроизведение. И вот, наблюдая произведения в этом большом пространстве, мы можем сказать о них все прямо противоположное тому, что было только что сказано. Произведения и творческие миры писателей не одиноки, но непрерывно вступают друг с другом в контакт, иногда их авторами предусмотренный, но чаще непредвиденный; эти их контакты и отношения и образуют сюжеты, развивающиеся в пространстве целой литературы. Как правило, это скрытые сюжеты, и для их обнаружения и вскрытия нужны усилия филолога. Один из таких потаенных микросюжетов мы в свое время (в статье «О смысле „Гробовщика“, 1973) определили как прорастание в ранней повести Достоевского («Господин Прохарчин») зерна, что было словно бы тайно посеяно в сновидении пушкинского гробовщика. Трудно предполагать, что Достоевский вспоминал это место в пушкинской повести, когда писал «Господина Прохарчина»; скорее здесь таинственная сила генетической литературной памяти скрыто от автора производила свою работу *в самом материале русской литературы* (см. об этом в настоящей книге в статье «Французский эпиграф к „Евгению Онегину“. Онегин и Ставрогин»). Что это значит — в самом материале русской литературы? В данном случае это новый материал реальный, введенный в литературу (низовой социально и интеллектуально, ремесленник, станционный смотритель, чиновник), впервые выдвинутый на первый план большой литературы, но пересозданный ею в собственный материал (в «фантастического титулярного советника», по Достоевскому²), обретающий саморазвитие и передающийся от автора к автору на дальнейшую разработку — и порождающий самостоятельный ряд персонажей, от Адрияна Прохорова до господина Прохарчина.

Достоевский, замечательно сказал А. Л. Бем, «может быть, и сам того не сознавая», постоянно бывал «во власти литературных припомни-

наний»³; творческий анамнезис был его писательским методом. Природа этих припоминаний — сам того не сознавая! — еще неясный вопрос для теории творчества (может быть, и предназначенный оставаться неясным). Но именно действием объективной, сверхличной литературной памяти строятся те сюжеты русской литературы, речь о которых идет в этой книге. Достоевский, «гениальный читатель», по слову того же А. Л. Бема, был таковым не только в своих спонтанных и полуосознанных «припоминаниях», он также был сознательным конструктором и могучим организатором самого процесса сохранения, возделывания и передачи творческой памяти и ее преобразования в путь большой литературы. Таким он сразу явился в своем первом произведении.

Литературный эпизод в «Бедных людях» уже так зачитан нами и переисследован; но, как бывает в подобных случаях, обширный смысл его и, главное, колоссальность роли в движении нашей литературы — остаются не вскрытыми. Автору статьи «Холод, стыд и свобода» в настоящей книге представилось, что смысл эпизода существенно расширяется с подключением точки зрения, сформулированной в подзаголовке статьи: «История литературы *sub specie* Священной истории». Нечто преображается, и открывается, что Достоевский сквозь избранные произведения Пушкина и Гоголя и собственный первый роман — и поверх этих произведений — сознательно и активно построил метасюжет большой русской литературы и создал ее порождающий миф. И этим метасюжетом он оформил путь русской литературы как ее *телеологию* — ибо этим понятием надо определить те событийные связки и их направленность в сюжетном поле литературы, о которых заходит речь в настоящей книге (главным образом в ее первой части). Наши формалисты в свое время провели весьма плодотворное разграничение понятий фабулы и сюжета — как материала и литературного построения; как в отдельном произведении, так и в размерах литературы разграничение это может, как представляется, быть осмыслено в этой плоскости: фабула эмпирична, сюжет — целенаправлен, телеологичен.

«Пушкин — Гоголь — Достоевский» — тема-название первой части книги — магистральный сюжет всего литературного столетия на верховном уровне связи и смены ее центральных имен.

Вторая часть книги — персональная леонтьевская; ее основная тема — мало кого сейчас интересующая на фоне исторических и политических пророчеств Константина Леонтьева его замечательная литера-

турная теория, также в себе содержащая пророческие для будущей научной теории литературы и поэтики зерна. Три леонтьевские статьи — отдельный внутренний сюжет книги, что проявляется в переходящих темах, мотивах, формулировках и даже местами минифрагментах текста из статьи в статью (автор просит прощения за такие текстуальные повторения, которых, впрочем, немного, но по причине внутренней связанности отдельных статей они местами нужны).

Темы и сюжеты третьей части книги — об отдельных событиях литературы и филологической мысли нашего уже века — более разрозненны и обособленны. В центре этой части — несколько материалов полумемуарного-полутеоретического характера о жизненной и научной судьбе и филологически-философском учении Михаила Михайловича Бахтина. Мы позволили себе включить в эту и предшествующую части книги две журнальные рецензии (на «Первую книгу автора» Андрея Битова, рецензия расширена для книги, и на работу Т. А. Касаткиной о Достоевском) и даже две газетные памятные статьи (к столетию смерти К. Леонтьева в 1991 г. и на свежую смерть А. Д. Синявского в 1997 г.).

Книга в целом сложилась из статей, написанных за последние десять лет с небольшим: все написаны после выхода в свет нашей книги «О художественных мирах», 1985, за единственным исключением — это заметки о «конструкции», архитектуре книги Марселя Пруста; они составляют двойное исключение: это единственный материал, формально выходящий за границы темы сюжетов русской литературы (по существу же, по значению Пруста для нашей литературы нашего века, близко с ней соотносящийся), и единственный давно, в иную эпоху написанный, вернее, вчерне тогда набросанный; за протекшие почти тридцать лет автор забыл об этом черновом тексте и вспомнил о нем почти случайно, собирая эту книгу. Сознывая, что заметки сильно отстали от огромной новой литературы о Прусте за эти тридцать лет, мы решились все же, лишь слегка обработав, сохранить их в книге. Заметки о Прусте и о поэме Людмилы Петрушевской публикуются в книге впервые, как и вторая часть статьи «Леонтьев и Достоевский» (главки 9—14; были опубликованы ранее только главки 1—8); относительно же прочих статей, публиковавшихся прежде, надо сказать, что почти все они для книги дорабатывались, в том числе с помощью значительно расширяющих позднейших постскриптумов (так, постскриптумы «Возможные сюжеты Пушкина» и «О религиозной филологии» написаны специально для этой книги), а также привлечения новых ма-

териалов, ссылки на которые поэтому можно встретить в текстах под старой датой. Примечание техническое: все слова и фрагменты текста, выделенные автором книги (в том числе и в приводимых цитатах), передаются курсивом; подчеркнутое цитируемыми авторами передается разрядкой.

Два последних текста в книге — отклики на литературоведческие работы, рецензия (дополненная постскриптумом) и предисловие. Включать в книгу эти текущие отклики не предполагалось, и если все-таки они в нее вошли, то затем, что автору захотелось сохранить свои реакции на живые тенденции в филологии наших дней. Наша нынешняя филологическая ситуация отмечена новыми устремлениями, амбициями и вызовами. Вызов брошен так называемому традиционному литературоведению от лица «другого литературоведения» — это понятие уже появилось вслед за возникшим в последние годы термином «другая литература» — и можно, кажется, к нему отнести на разных полюсах как постмодернистский «дискурс», так и народившуюся религиозную филологию наших дней. «Просто дискурс не тот» — так от лица «другого литературоведения» оценил современный критик посмертную книгу одного из тонких авторов устаревшего «традиционного литературоведения» (А. В. Карельского⁴). В одной филологически-социологической статье о проблеме массовой литературы недавно был поставлен диагноз, что «среднее и старшее поколения отечественных филологов „безнадежны“⁵; т. е., видимо, необучаемы новым методологиям и технологиям. Не будем спорить, попробуем лишь самым сжатым образом обозначить основания того литературоведения (очевидно, «традиционного», если говорить в понятиях нашего дня), что представлено в предлагаемой книге.

Литературоведение или, лучше, — филологическое изучение литературы — есть область понимания, что такое литература (художественная, но, вероятно, не только) и каковы ее произведения. Сейчас остра проблема интерпретации. Понимание и интерпретация — не то же самое. Интерпретация есть самоутверждающееся понимание, имеющее тенденцию в своем самоутверждении более или менее пренебрегать (оставляя как бы его позади себя) предметом понимания. В литературоведении нашего времени интерпретация самоопределяется как автономная область порождения собственных смыслов, затем обратным ходом приписываемых тексту, произведению; выразительные примеры мы пытались представить в статье «От имени Достоевского» и постскриптуме к ней. Теоретический лозунг «Против интерпретации», объяв-

ленный Сьюзен Зонтаг в 60-е годы, обретает вновь остроту (что совпадает с переводом, наконец, на русский этой сильной статьи⁶).

Роль литературоведения по отношению к литературе противоречива. Литературоведению подобает скромность: оно литературе служит, литературоведческая речь это косвенная речь по определению; и именно как таковая она имеет свои особые возможности в мире мысли (и, очевидно, в этом ее характере заключается также ее особая этика). В то же время, автор в этом убежден, литературоведение это тоже литература и филолог это писатель, он не только имеет дело с исследуемым словом другого писателя, он работает с собственным словом сам, без чего ему не откроется и исследуемое слово. «Так называемая наука филология доказательна лишь в той степени, в какой она сама является искусством. В искусстве же могут быть истинными и противоположные утверждения»⁷. Так, понимание Пушкина есть *объем* как будто несовместимых о нем утверждений, и только такому, объемному пониманию доступен объемный феномен Пушкина.

Филологическая работа — продолжение самой литературы, необходимое этой последней для самопонимания. И филологическая скромность не помеха филологической активности, а ее условие. Сказанное прямо относится к главной теме настоящей книги.

Повторим поэтому, заключая эти вступительные слова: сюжеты русской литературы, о которых идет в книге речь, требовали филологического усилия для своего усмотрения и вскрытия в недрах самой истории нашей литературы. Филолог, открывая их в этих недрах, строит свои *филологические сюжеты*. Автору хотелось бы видеть в этом апологию литературоведения как дела, необходимого самой литературе для того, чтобы ей быть понятой и просто *прочитанной*. Нам близок взгляд покойного Александра Викторовича Михайлова на теорию литературы как самоосмысление самой литературы иными средствами. «Такое слово теории оказывается в глубоком родстве со словом самой поэзии», — писал А. В. Михайлов⁸, и эти слова хотелось бы взять эпиграфом к настоящей книге.

Примечания

⁶ Из статьи Ф. А. Степуна «Жизнь и Творчество», напечатанной в московском философском журнале «Логос» в 1913 (кн. 3—4) и перепечатанной в новом «Логосе», цитируемое место в № 4, 1993, с. 257.